
ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

Р. АРОН

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Дискурс историка состоит из предложений о событиях и их взаимосвязи. Поскольку этот дискурс постепенно становится *рассказом*, он не должен походить на речь детей. В самом деле, речь детей представляется в таком виде: «Это произойдет, затем это, а затем это». Но ясно, что дискурс историка становится научным только в той мере, в какой наблюдается более или менее необходимая или, по крайней мере, понятная связь между излагаемыми событиями и их антецедентами.

Отсюда возникли две модели связи между событиями. Они представлены, разработаны и постоянно дискутируются: это модель Гемпеля, или дедуктивная модель, или *covering-law model*, модель, связанная с законом, охватывающим специфическую связь, и модель Дрея. Модель Гемпеля выглядит так: научное объяснение имеет место только в том случае, если связь между особенными событиями выводится из общего высказывания. Это можно также выразить следующим образом: историческое объяснение научно только в том случае, если оно опирается на дедуктивный постулат. Модель Дрея называют еще *рациональной*: событие можно объяснить и понять, если удастся выяснить цель его участника, а также объяснить избранное средство исходя из преследуемой цели. Само собой разумеется, что модель рационального объяснения может быть применена только к человеческим действиям и что, следовательно, модель Дрея учитывает специфику человеческой истории по сравнению с историей природы. Модель Дрея, действи-

тельно, неприемлема, когда речь идет о связи событий в природе, ибо нельзя предположить, что замерзающая вода намерена замерзнуть, а дождь намерен падать с неба. Зато легко предположить, что Гитлер, нападая на Россию, или Бисмарк, подделывая телеграмму из Эмса, или американцы, девальвируя несколько дней назад доллар, преследовали определенные цели.

Такова проблема исторического объяснения. Прежде чем более подробно анализировать обе эти модели, я хотел бы поставить вопрос, насколько правомерна такая постановка проблемы исторического объяснения. По этому поводу я сделаю несколько замечаний:

1) Постановка проблемы исследования взаимосвязи событий правомерна лишь в той мере, в какой не забывают о том, что события, подлежащие объяснению, – это не те события, которые произошли, которые были пережиты, а события, *сконструированные* историком. В историческом рассказе никогда нет ни чистых событий, ни чистой феноменальной реальности, а есть замена конкретного определенным числом высказываний, которые представляют собой описание или установление того, что произошло. Другими словами, то, что пытаются объяснить, – не просто событие, не просто явление, а событие, сконструированное историком, и я сразу добавлю, что, по мнению аналитиков, эта конструкция, или описание события, уже была сделана до постановки проблемы о связи между этим сконструированным событием и его antecedентами.

Можно также сказать, что аналитики имплицитно вновь находят идеи, которые длительное время развивали другие исследователи исторического познания. В частности, легко вспомнить излюбленный пример немецких представителей критической философии истории, связанный с битвой. Ясно, что битва, подлежащая объяснению, или ее ход, или счастливый исход для той или иной стороны, который хотя и пытаются объяснить, будет фигурировать в историческом рассказе в виде ряда предложений. Такая мыслимая или рассказанная битва существенно отличается от той битвы,

которую пережили солдаты или генералы. Мыслимая или рассказанная историком история не есть отражение или копия пережитой битвы, это *реконструкция* или *реконституция*. Было бы чистой иллюзией считать, что рассказ, реконструкция или реконституция представляют собой просто отражение того, что произошло.

Я добавлю, что эта реконструкция или реконституция обязательно предполагает использование понятий. Достаточно, например, сказать «Марафонская битва», чтобы применить понятие, ибо битва есть понятие, и когда говорят «Марафонская битва», то предполагают, что происшедшее в этот день в 42 километрах от Афин относится к тому же классу, что и случившееся днем в декабре 1805 года в Аустерлице. Другими словами, когда говорят «Аустерлицкая битва» или «Марафонская битва», то уже сконструированной реальностью заменяют серию впечатлений, пережитых участниками событий. И такая конструкция создается только с помощью представлений или понятий. Добавлю, что именно благодаря историку Марафонская или Аустерлицкая битва получает свою целостность. Относительно Марафонской или Аустерлицкой битвы можно сказать, что целостность, если хотите, была предвосхищена в пережитом. Но во многих случаях сконструированные события получают свою целостность от историка, хотя участниками они не пережиты как составляющие целостность. Наиболее известный пример – это Пелопоннесская война, описанная Фукидидом. В значительной степени именно Фукидид представил целостность Пелопоннесской войны. Именно он осмыслил первую половину войны между Афинами и Спартой, затем перемирие благодаря Никию. Вторая половина войны представляет собой только одно событие, одну целостность, которая называется Пелопоннесской битвой. Не исключено, что то же самое можно сказать, как об этом заявил однажды генерал де Голль, о двух войнах XX века, – 1914–1918 и 1939–1945 годов: это лишь одна тридцатилетняя война, которая была развязана дважды с перемирием в двадцать лет.

Я веду к простой и фундаментальной мысли: нет существенной разницы между событием и целостностью. Такое событие, как Марафонская битва, может быть разбито на ряд отдельных действий. Точно так же война может быть разделена на ряд битв. Следовательно, исторические целостности не имеют атомистического характера. Они, так сказать, являются *целостностями*. Создание целостностей, предполагаемое в аналитике взаимосвязей, является фундаментальной составной частью восстановления человеческой истории историком.

Естественно, можно поставить вопрос, которым не задаются аналитики: на какую из пережитых историй больше всего похожа история, рассказанная историками. Возможно, что в большинстве исторических рассказов описанная история больше похожа на историю, которую пережили генералы, чем на историю, которую пережили солдаты. Это значит, что есть рассказы, которые воспроизводят связь событий и сводят к минимуму роль государственных деятелей, но есть также рассказы, в которых стараются показать события, подчиненные проницательной воле этих деятелей. Если вы хотите иметь примеры этих двух крайностей, посмотрите, с одной стороны, школьные учебники, где есть описание Аустерлицкой битвы, а с другой – роман Толстого с описанием Бородинской битвы. Толстой сводит почти на нет роль великих людей, полководцев, клаузевицей, и считает, что битва была только страшной мясорубкой, где в конце концов наблюдалось чуть ли не случайное скопление массы людей, неповоротливость, противодействие и его преодоление и где не было места для проявления воли государственных деятелей. Вам известны литературные впечатления о войне на низшем уровне: это Стендаль и битва при Ватерлоо, Золя и поражение – вот рассказы об исторических событиях, предлагаемые участниками-жертвами, а не участниками событий на высшем уровне.

Этот анализ моделей реконструкции или реконституции мог бы и должен был бы заинтересовать эпистемологию.

Аналитики совершенно абстрагируются от этого аспекта работы историка, так как они берут за отправную точку простую формулу: событие, связь которого с его antecedентами мы ищем, представлено в ряде сформулированных историком суждений о том, что произошло в том или ином месте и в тот или иной момент.

2) Если предыдущий анализ точен, различие между микрособытием и макрособытием есть только относительное различие. Встреча французского солдата и русского солдата во время битвы при Аустерлице – это микрособытие, но если вся битва уже является макрособытием по отношению к отдельному событию, то она представляет собой лишь микрособытие по отношению ко всей военной кампании, а вся военная кампания является микрособытием по отношению ко всем войнам Наполеона. Выразим иначе ту же мысль: нет существенного различия между *микро* и *макро*, между событием и совокупностью событий: любой исторический рассказ представляет собой серию совокупностей, *Zusammenhänge* (я говорю «совокупность», чтобы не употреблять термин «Whole»). Различие между событием и совокупностью, таким образом, носит относительный характер, и мы имеем, так сказать, русскую матрешку: *микро* вкладывается в *макро* так, что никогда нельзя найти ни мельчайшую часть, ни все целое. Целое представляется как целостность человеческой истории, которая нам недоступна; часть будет событием, локализованным в пространстве и времени. И совершенно невозможно ни установить мельчайшую часть, ни охватить все целое.

Если так ставить вопрос, то можно возразить против приема, который используют англо-американские аналитики при постановке проблемы объяснения. Вероятно, это возражение сформулировал Альтюссер, судя по некоторым выражениям в его работах: он утверждал, что не следует брать за отправную точку то или иное событие и пытаться установить его связь с antecedентами; он говорил, что, с одной стороны, непосредственное обращение к событию относится к эмпирии, а с другой – это свидетельствует

о незнании условий подлинной научности, а именно охвата еще до факта или до события всей совокупности, в которой это событие займет место. В крайнем случае, он мог бы поддержать мысль о том, что история как наука предполагает теоретический охват совокупностей, и что не из элемента или отдельного события нужно исходить при воссоздании системы или значимой совокупности, в которой событие найдет свой смысл и значение.

Чтобы поддержать прием аналитиков, я приведу два аргумента:

А) Микрособытие – это не просто событие, и поэтому начинать можно как с микрособытия, так и с более широкой совокупности. Микрособытие, если мы его правильно понимаем, представляет собой ту же реконструкцию; оно тоже предполагает понятия и минимум теории.

Б) Но, естественно, есть значительное различие в уровнях между тем, чего требует от теории или концептуализации анализ микрособытия, и тем, чего требует рассмотрение способа производства. Можно, конечно, сказать, что нет существенной разницы между «битвой» как целостным образованием и «способом производства» тоже как целостным образованием. Но тем не менее в одном случае мы имеем ясный факт, который мы можем проверить, а в другом случае, например, когда речь идет о способе производства, мы сразу оказываемся на уровне абстракции и концептуализации, так что возникает вопрос о том, представляет ли собой этот сконструированный объект произвольное творение ученого или в известной мере определяется исторической действительностью. Скажем просто: если анализируют микрособытие и ищут связь с antecedентами, то поступают гораздо скромнее, чем когда хотят охватить такие сложные целостности, как, например, способ производства. Но я спешу сказать, что нет заранее готового философского возражения против попытки привести события в единую систему и что каждая сфера истории может включать в себя поиск системы – либо системы, которая определена исторически, либо более или менее абстрактной

системы, как, например, системы способа производства, что является скорее моделью, чем системой.

3) Подобно тому, как событие включается в систему, в рассказе необходима реальность, развитие и непрерывность которой сразу пытаются охватить. Другими словами, когда, скажем, излагают историю Франции или историю философии, возникает необыкновенно трудная, но необходимая концептуальная проблема, связанная с определением реальности, последовательные этапы которой пытаются изобразить. В сущности, речь идет о том, чтобы выяснить, в какой мере существует нечто соответствующее тому, что мы называем реальностью «Франция». Разве написанная история Франции не является просто вымыслом в учебниках, которые предполагают перманентность через последовательные состояния некоей политической реальности? Вполне правомерна постановка вопроса о том, когда начинается история Франции. Этот вопрос можно поставить по-другому: Тойнби во Введении к своей книге «Постижение истории» ставит вопрос о том, что он называет «умопостижимым полем исторического исследования», и пытается доказать, что ни Англия, ни Франция, ни Германия не представляют собой «умопостижимое поле исторического исследования». Это значит, что целостность, дающая возможность понять становление, – это не целостность, сущностью которой является Франция или Англия, а целостность, которую принято называть «цивилизацией», или обществом. Таким образом, если желают рассмотреть последовательные состояния действительности, можно поставить вопрос о том, как определить эту действительность и представить сквозь время ее непрерывность, или перманентность.

4) Последнее замечание, которое я сделаю мимоходом, потому что вернусь к нему позже, связано с тем, что, на мой взгляд, в теории исторического объяснения важно различать два понятия, которые я соответственно называю «событием» и «творением». Я называю «событием» то, что происходит в определенный момент времени, в определен-

ной точке пространства, а если речь идет об истории человеческой, то это датированное событие общества в определенном месте. Творение по своему происхождению является событием: история Пелопоннесской войны была написана Фукидидом в определенный момент во время Пелопоннесской войны, и до сих пор спорят о времени написания разных ее частей. Таким образом, книга «Пелопоннесская война» представляет собой событие, но раз творение оторвалось от своего автора, раз Парфенон уже построен, а «Пелопоннесская война» уже написана, речь идет о творении, то есть о вещи, которая является творением рук человека. Его нельзя путать ни с намерениями, ни с жизненным опытом его автора. Художественный монумент является примером творения, но научное знание или книга по истории тоже являются творениями, которые концептуально отличаются от того, что я называю событиями. И я попытаюсь показать, что объяснение, или интерпретация, события и объяснение творения происходят по-разному.

Сделав эти оговорки, попытаемся строго сформулировать две модели, и начнем с модели Гемпеля, которую также называют дедуктивным постулатом. Сама по себе мысль Гемпеля очень проста: при рассмотрении двух единичных событий как можно, например, объяснить, что событие **В** должно было произойти, или как можно объяснить событие **В**? Кажется, возникнет ощущение, что мы можем объяснить событие **В**, если сможем найти всеохватывающий закон, согласно которому всякий раз, когда дано **А**, из него следует **В**, и затем если мы сможем с помощью единичных суждений обнаружить, что событие **А** было дано до события **В**, которое мы хотели объяснить.

Возьмем очень простой пример: почему радиатор моей машины вышел из строя? Потому что, как это всем известно, вода замерзает, когда температура опускается ниже нуля. С другой стороны, нам также известно, что объем льда больше объема воды, так что при замерзании воды трубы выходят из строя. Предположим, что в один прекрасный день, когда было очень холодно, мой радиатор вышел из

строю. Таким образом, мы располагаем тем, что необходимо для модели Гемпеля, а именно двумя высказываниями, выражающими законы: вода замерзает, когда температура опускается ниже нуля; объем льда больше объема воды. Для удовлетворительного объяснения в духе модели Гемпеля нам достаточно знать первоначальное условие, а именно, что температура в этот день была действительно ниже нуля и к тому же не было антифриза в воде моего радиатора. Действительно, 1) вода в радиаторе была без антифриза и 2) температура опустилась ниже нуля. Это два первоначальных условия. С другой стороны, имеются два всеохватывающих закона: вода замерзает, когда температура опускается ниже нуля; объем льда больше объема воды. Исходя из общих высказываний, а также из сложившейся в этот день ситуации, мы можем объяснить, почему радиатор вышел из строя. Это тот же тип модели Гемпеля: одно или несколько общих высказываний, которые определяют, что когда дано **E**, из него следует **F**; констатация того, что в специфической ситуации дано **E**, и этим же объясняется **F**. При рассмотрении модели Дрея возьмем тот же пример с радиатором. Предположим, что кто-то меня спрашивает: почему твой радиатор вышел из строя? Я не отвечу: «Потому что вода замерзает, когда температура ниже нуля» (он знает это так же хорошо, как и я, но это, очевидно, не причина выхода из строя моего радиатора). Я вам оставляю выбор между двумя возможными ответами. Один из ответов: «Потому что мой недисциплинированный техник по обслуживанию машин после слива воды из радиатора забыл залить антифриз»; второй: «Потому что Жан, которому я когда-то повредил машину, решив мне отомстить, слил антифриз из радиатора и залил туда воду без антифриза». В обоих случаях объяснение события, именуемого «радиатор вышел из строя», связано не с замерзанием воды и не с соответствующим объемом воды или льда, что нам всем известно, а с поступком человека.

Я упомянул два возможных ответа, потому что они разного типа. Первый тип: «техник по обслуживанию машин

забыл» предполагает непреднамеренный поступок, который является возможным объяснением. Но оно не укладывается в *рациональную модель* Дрея. Зато второе объяснение «потому что другой решил отомстить, опорожнил мой радиатор и залил туда воду без антифриза» представляет собой именно тип рационального объяснения и модели Дрея. Вы можете считать это странной рациональностью. Но это действительно совершенно рационально: он хотел добиться определенной цели – отомстить за ущерб, который я нанес его машине. Он использовал находящееся в его распоряжении средство: он нанес ущерб моей машине, создав условия, при которых радиатор должен был выйти из строя. В данном случае речь идет, таким образом, о том, что принято называть *телеологическим или рациональным объяснением*, так как, имея цель, он выбрал средство, которое с точки зрения логики казалось рациональным и было связано с целью; он выбрал средство, с помощью которого добился своей цели.

Такого рода рациональное объяснение называют также *практическим силлогизмом*, который формулируется так:

- А хочет достигнуть цели X;
- А находится в положении, когда средством достижения цели X является решение Y;
- Итак, он принимает решение Y.

Или еще пример: чтобы объединить немецкие государства, Бисмарк хотел начать войну против Франции в 1870 году; кризис в Испании и демарш французского посла в Пруссии предоставили ему удобный случай: он подделал телеграмму из Эмса, чтобы добиться поставленной цели, то есть начать войну, причем в благоприятных условиях, поскольку Франция выглядела бы агрессором. Неважно, идет ли речь о мести водителя или о развязывании войны, мы получаем тот же практический силлогизм: участник событий, преследующий определенную цель, находится в такой ситуации, когда предлагаемое ему средство проявляется так или иначе. Таким образом, он выбирает средство, которое ему предложено, потому что именно оно ведет к поставленной цели.

Мы в общих чертах проанализировали обе модели в их чистом виде. В чистом виде модель Гемпеля позволяет вывести событие из общих высказываний на базе имеющихся antecedентов. Со своей стороны, модель Дрея позволяет объяснить событие, исходя из намерений или цели участника событий, оказавшегося в определенном положении. Добавлю, что я сознательно привел пример с машиной, потому что этот пример позволяет понять, что в некоторых событиях повседневной жизни оба типа объяснения, или обе модели, могут быть использованы одновременно. Размышляя, например, о недавней трагедии в общеобразовательном колледже, мы находим телеологическое объяснение в обдуманных действиях нескольких молодых людей. Но вместе с тем надо учесть быстрое распространение пожара (пожар распространился быстрее, чем ожидалось), которое имеет природный характер. Его, вероятно, можно объяснить, исходя из некоторых общих высказываний, связанных с особыми обстоятельствами. Нельзя сказать, что причиной пожара был поджог бензина, потому что это причина в вещественном смысле слова; можно было бы начать с анализа обдуманных действий: тем не менее, если хотят иметь общее объяснение, то надо также включить природные события, выводимые из некоторых общих высказываний.

Вот две крайние модели и довольно поучительный пример, который можно легко экстраполировать на исторические примеры. Так, если мы анализируем решение Гитлера напасть на Россию, то объяснение, согласно модели Дрея, состояло бы в том, чтобы выяснить цель, которую преследовал Гитлер, и объяснить решение бросить войска на завоевание России как средство, которое он считал лучшим или единственно возможным для достижения своей цели, связанной, вероятно, с завоеванием всей Европы.

Почему спор об этих двух моделях занимает такое место во всей американской аналитической литературе? На мой взгляд, причины этого заключаются в следующем:

1) Если модель Гемпеля приемлема, то отсюда следует, что историческое познание в принципе не отличается от

познания природы. В самом деле, причина, по которой большинство англо-американских аналитиков пыталось использовать модель Гемпеля в исторических объяснениях, заключается в том, что эта модель представляет собой способ подтверждения или верификации одного из тезисов аналитической школы: единство научного знания, без учета разнообразия объектов, которых касается это знание. Если историческое объяснение определяется дедуктивной моделью, то больше нет существенной разницы между познанием человека человеком и познанием природы человеком. В конце концов приверженцы школы Гемпеля хотят доказать исключительно однородную природу любого научного объяснения. Отсюда следует, что многие из тех, кто поддерживает противоположный тезис, стараются вновь найти с помощью аналитического метода герменевтическую или феноменологическую концепцию истории, то есть стараются доказать, что познание истории людей *существенно* отличается от познания природы.

2) Аналитики – приверженцы школы Гемпеля чувствуют, что объяснение посредством намерения, или цели, которую преследовал участник событий, вводит элемент, чуждый сущности научного объяснения. Исходя из идеи, что никогда нельзя наблюдать со стороны то, что происходит в сознании участников событий, первый из аналитиков школы абсолютного объективизма отрицает правомерность ссылки на то, что происходит в сознании этих участников. Но, действительно, большинство аналитиков хорошо осознает, что невозможно рассказать историю людей, абстрагируясь от того, что думали или хотели эти люди. Поэтому они не доводят объективистскую теорию до крайности. Однако чем меньше они прибегают к объяснению с помощью намерений и сознания, тем больше у них возникает ощущение, что они твердо стоят на научной почве.

3) Модель Дрея снова вводит то, что немцы называли «*Verstehen*», то есть «понимание», которое является главным понятием герменевтической школы. Дрей, канадский профессор, насколько я помню, не подозревает, что с по-

мощью другого метода он обнаруживает то, что Макс Вебер и Дильтей выразили совершенно ясно. Действительно, легко можно найти в «Wissenschaftslehre» Макса Вебера теорию объяснения посредством рационального решения для достижения данной цели. Но, насколько мне известно, Дрей никогда не цитирует Макса Вебера. Наряду со многими другими это пример того, что сегодня большинство профессоров являются пленниками своей специальности: Дрей получил философское образование, а поскольку Макс Вебер не был профессиональным философом, он не оказался в поле зрения Дрея; последний даже не подозревал, что определенное число идей, которые он защищает, уже были изложены на сто лет раньше на другом языке и притом человеком, который не был профессиональным философом.

Последняя книга, посвященная этой теме, принадлежит финну Г.-Х. фон Вригту. Он рассуждает в аналитическом духе и представляет последнюю школу аналитиков – школу, которая вновь обнаруживает традицию «Geisteswissenschaften». Г.-Х. фон Вригт воспроизводит теорию исторического объяснения на базе модели Дрея, но понимает, что эта модель есть не что иное, как разновидность теории «Verstehen». В своей книге «Explanation und Understanding», Вригт рассматривает диалог Гемпеля–Дрея и поддерживает модель Дрея, но в измененной форме; он ясно говорит, что нужно вновь найти специфический смысл, который немецкие авторы придавали понятию «Verstehen», то есть «понимать».

В диалоге Гемпеля–Дрея можно установить огромное количество возможных позиций:

А) Прежде всего можно сказать, что историки пишут историю чаще всего по модели Дрея, но они неправы: они воображают, что объясняют, хотя на самом деле они ничего не объясняют. Согласно этой позиции, «телеологическая модель» или «практический силлогизм» не является объяснением в научном смысле слова, даже если признать, что многие историки эту модель считают приемлемой.

Б) Можно согласиться с тем, что историки часто объясняют по модели Дрея (впрочем, они это делают не лучшим

образом), но отсюда следует, что история – это не наука. Именно такую позицию занял Поль Вейн в своей последней книге, посвященной Франции. Он особо подчеркивает, что, с его точки зрения, история не есть наука, поскольку она рассматривает только единичное и описывает, но не объясняет в научном смысле слова.

В) Можно, наконец, также сказать, что модель Дрея применяется в некоторых разделах исторического познания, но ее недостаточно, и поэтому очень часто необходимо искать и применять общие высказывания для дополнения объяснений телеологического типа объяснениями дедуктивного типа.

Мы рассмотрим, какая из этих позиций лучше. Сейчас же мы прежде всего отметим, что постарались сблизить по-разному обе модели, и главным образом попытались сблизить чистую модель Гемпеля с практикой исторического познания или даже с практикой объяснения в науках о природе, смягчив строгую форму дедукции.

Вместо утверждения, что объяснение удовлетворительно только в той мере, в какой имеется общее высказывание, из которого можно вывести то, что надо объяснить на базе изначально данных условий, можно сказать, что есть не *одно*, а множество общих высказываний, не *один*, а огромное число antecedентов, и что, следовательно, нет строгого детерминизма между antecedентами и событием, подлежащим объяснению, а есть просто большая или меньшая степень вероятности. Если мы рассматриваем конкретную ситуацию, например, сводку погоды, и если мы пытаемся объяснить явление гололеда в том или ином месте, то абстрактно мы знаем условия, в которых образуется гололед, но мы знаем также и то, что гололед может образоваться при стечении таких обстоятельств, как влажность, холод и т.д. Эти обстоятельства бывают разными. Следовательно, объяснение в данном случае состоит, как это делают метеорологи, в том, что есть риск гололедицы в определенном регионе в зависимости от определенного числа обстоятельств, что налицо вероятность события, а не строгий де-

терминизм. Можно заменить строгую дедукцию на базе общего высказывания вероятностью предсказания и вероятностью объяснения в зависимости от множества обстоятельств, множества antecedентов и множества общих высказываний.

Мы сохраняем, таким образом, идею модели Гемпеля, согласно которой общее понятие является условием научного объяснения единичной связи, но мы заменяем детерминанту или необходимость вероятностью. Например, когда речь идет о генетической мутации, биологи могут только констатировать эти мутации и в случае необходимости определять обстоятельства, которые увеличивают число этих мутаций; следовательно, есть объяснение единичной мутации на основе вероятности, и нет строгой дедукции события (мутации) исходя из общего высказывания.

Можно было бы привести и другие примеры, но это завело бы нас слишком далеко. Бывают исключительные события: это те события, которые представляют собой неисправность хрупкого механизма. Когда, например, автомобиль неисправен, то происходит событие, которое представляет собой неисправность хрупкого механизма. И было бы интересно сравнить аварию неисправной машины с функционированием машин особого типа, а именно машин, которые могут нарушить любую целенаправленность. Например, это машина, которая сконструирована так, чтобы каждое отдельное движение было непредсказуемым. Это – преднамеренно, целенаправленно созданный механизм, отдельные элементы которого недетерминированы: можно лишь определять частоту в зависимости от равных шансов появления каждого номера.

Вероятность, заменившая необходимость, несомненно, облегчает использование общих высказываний при объяснении исторического события. Возьмем, например, нападение Гитлера на Россию. Можно сказать, что это нападение было вероятным, сославшись на общее высказывание такого типа: любая европейская держава, желающая установить свое господство над всем континентом, вынуждена устра-

нить любого земного соперника. В 1940 году Гитлер устранил западных соперников, и, следовательно, если его целью действительно было господство в Европе, можно сказать, что высказывание, подтвержденное при Наполеоне, согласно которому завоеватель Европы вынужден идти на Москву, есть высказывание общего типа. Это закон, благодаря которому становится если не необходимым, то понятным решение Гитлера. Можно найти другую формулу: учитывая мощь Германии в 1941 году, учитывая природу Третьего Рейха, можно сказать, что тот факт, что война приобретала все более и более широкие масштабы, вполне соответствовал историческим прецедентам.

Таковы общие высказывания (которые можно назвать макрополитическими), используемые не для того, чтобы строго вывести решение Гитлера, а для того, чтобы с их помощью легче понять это решение. Досадно то, что если бы Гитлер принял другое решение, то сразу бы нашлись общие высказывания, помогающие понять и это его решение. В конце концов, можно было бы сказать, что немцы после войны 1914–1918 годов поклялись никогда больше не вести войну на два фронта. Но в 1941 году решение Гитлера именно к этому привело. Однако оставим эти сомнения, которые нам просто напоминают, что эта ретроспективная вероятность или объяснения единичного решения общим высказыванием плохи или хороши тем, что они возможны после свершившегося факта, но они нередко ошибочны, когда формулируются заранее.

Есть также другой тип общих высказываний, которые англо-американские аналитики охотно используют: это предложения, которые они называют «диспозиционными», или предложения о характере, темпераменте, образе жизни и действиях участника событий. Аналитики особенно настаивают на этом, так как они считают, что решение объясняется не тем, что оно рационально в зависимости от преследуемой цели, а тем, что принимающий решение индивид как таковой вел себя разумно. Другими словами, они считают, что даже в случае принятия рационального реше-

ния личность участника события представляет собой как бы общее высказывание, из которого дедуцируется частное высказывание.

Общие высказывания, которые могут быть использованы для анализа микрособытия, созданного частным решением участника событий, могут быть двух типов:

– речь может идти о макрополитических высказываниях относительно системы. Например, в международном плане мы являемся свидетелями биполярного мира, каким он долгое время был нам известен. Мы можем сказать, что каждая из двух великих держав будет стараться ограничить экспансию другой и что частные решения США и Советского Союза становятся понятными в зависимости от общих высказываний о функционировании биполярного мира. Это первый тип обобщения, созданный общими высказываниями относительно целого, в которое включено поведение рассматриваемого участника событий;

– но существует также другой тип общих высказываний: это те высказывания, которые определяют характер участника событий. В этой перспективе можно сказать, что поведение участника событий в особых обстоятельствах объясняется главным образом его личными чертами. Относительно решения Гитлера можно сказать, что он, будучи человеком неограниченных амбиций, вдохновляемый страстью антикоммуниста, неизбежно должен был принять то решение, которое он принял, то есть попытаться уничтожить Советский Союз до американской интервенции. В данном случае решение проясняет скорее особые черты изучаемого участника событий, чем рациональный анализ ситуации и целей. Если вы примените тот же подход к Наполеону, вы обнаружите некоторые решения, которые можно лучше объяснить «диспозитивными» высказываниями, чем рациональностью. Такова, например, любопытная идея Наполеона посадить своих братьев на различные европейские троны. В данном случае, действительно, речь идет о Наполеоне-человеке, о значении клана, о семейной привязанности, и гораздо легче вывести эти част-

ные решения из Наполеона-человека, чем из Наполеона-полководца.

Модель Гемпеля можно выразить с помощью следующих элементов: множественность так называемых общих высказываний, которые представляют собой не столько законы, сколько более или менее туманные обобщения, неопределенность обстоятельств, в которых произойдет или произошло событие, вероятностные высказывания, диспозиционные высказывания. Заключительной мыслью всех этих уточнений является фраза, которую использует Гемпель и которая стала классической: историческое объяснение не соответствует чистой модели, изложенной изначально, но представляет собой *an explanation sketch*, схему объяснения. Иногда общее высказывание ясно выражено, иногда нет: тогда имеется сокращенная схема объяснения, поскольку модель Гемпеля будто бы есть модель совершенного исторического объяснения.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Итак, мы имеем две модели объяснения: модель Гемпеля, или модель дедуктивности, согласно которой, исходя из общей связи, возможно вывести единичную связь, и модель Дрея, которая является моделью рациональной связи между ситуацией и решением или действием.

Чтобы сопоставить эти две модели и начать анализ, который должен занять центральное место в нашем курсе, я вернусь к модели Гемпеля, которая в более или менее модифицированной форме представляет собой модель, устраивающую большинство аналитиков. Может быть, мне стоило бы эту фразу выразить в прошедшем времени, так как наблюдается эволюция в англосаксонской аналитической школе, и растет число тех, кто благодаря аналитической философии вновь обнаруживает немецкую философию наук о духе. Действительно, в англосаксонском мире с удовольствием говорят о том, что благодаря Витгенштейну заново открыли для себя Дильтея. Но оставим этот чисто исторический вопрос и вернемся к модели Гемпеля.

Модель Гемпеля включает в себя три трудных вопроса:

1) Что представляют собой общие понятия, которыми располагают историки для объяснения событий? Или: что представляют собой закономерности или общие высказывания, из которых можно вывести единичную связь? Исходя из этого, аналитики ставят целый ряд вопросов: идет ли речь о законах или просто об эмпирической регулярности? Как различать законы в собственном смысле слова и эмпирические регулярности? Идет ли речь об общих высказываниях такого типа: «Все вороны черны»? Или речь идет, как считают некоторые аналитики, о тривиальных высказываниях типа: «Мать в порыве гнева даст легкую пощечину своему ребенку»? (Известный пример, потому что его можно найти у Макса Вебера и косвенно у Ясперса.) Или: являются ли эти общие высказывания тем, что я называл «диспозиционными» высказываниями, то есть такими высказываниями, которые касаются темперамента, характера, способа действия рассматриваемого субъекта?

Этот первый круг проблем имеет в основном логический характер, потому что для их решения надо было бы построить логическую теорию научного закона, отличного от эмпирической регулярности: надо было бы различать естественную необходимость эмпирической регулярности (которая не имеет характера необходимости) и логическую необходимость.

2) Второй круг проблем тоже имеет классический характер, и можно его назвать «проблемой Юма или Стюарта Милля». Суть этой проблемы состоит в следующем: являются ли причины чем-то другим, нежели antecedents? Когда мы объясняем событие, мы находим совокупность таких antecedents, среди которых мы должны различать контрибуционные причины, то есть причины, относящиеся к числу antecedents, необходимых для формирования рассматриваемого события, и достаточные причины. Вот в чем заключается классический спор в логике, который до сих пор в какой-то степени продолжается: является ли причина просто регулярным antecedentом, или совокупностью

антецедентов? Надо ли выбрать один антецедент из всех и считать его главной причиной? Споры по этим проблемам можно найти у представителей общественных наук (достаточно заглянуть в работы Симиана), которые, исходя из исследования Стюарта Милля об антецедентах и причинах, пытаются применить ее к экономическим отношениям.

Эти два круга проблем интересуют логиков больше, чем собственно историков. Иными словами, они интересуют особенно историков, которых привлекают специфически логические проблемы. Но имеется третья группа проблем, которая является центральной для историка.

3) Трудность на этот раз следует из прямого сравнения двух моделей – модели регулярной, или необходимой последовательности, откуда выводится единичная связь, и модели рациональности соотношения ситуации и действия. Речь идет о двух радикально различающихся моделях. В одном случае модель выглядит так: при данных антецедентах событие было необходимым, и я могу вывести эту необходимость единичной связи только при условии, если ее вывести из одного или множества общих высказываний. Напротив, если в определенной ситуации действие участника событий было рациональным и существовала рациональная связь между ситуацией и действием, то вы имеете модель объяснения с помощью рационального действия участника событий. Она в корне отличается от научной модели. Поэтому англосаксонские аналитики вели бесконечные споры по проблеме № 3, поскольку эта проблема имплицитно ведет к выбору либо в пользу одной модели для всех наук, включая общественные, либо допускает возможность специфической модели для общественных наук. Потому что только в той мере, в какой рассматриваемый объект включает в себя интенциональность, возможно найти модель рационального объяснения. Этот вопрос, имеющий в данный момент вспомогательный, вторичный характер и отражающий, по видимому, тонкости логики, ставит под сомнение общую проблему теории науки: существуют ли две модели для наук? Или не столь амбициозно: есть ли в знаниях о челове-

ке специфические черты, которые связаны с интенциональностью субъектов действия, которых хотят понять или объяснить?

Я сконцентрирую свое внимание на третьей группе проблем, потому что я не профессиональный логик. Конечно, меня также интересуют две первые группы проблем, и мимоходом я скажу о них кое-что, но третья группа меня интересует больше всего, потому что она ведет к сближению аналитической философии и герменевтики, или феноменологии, в интерпретации общественных наук. Пример, который я собираюсь привести, бесспорно, приемлем для защиты моего тезиса, и я тем более могу привести этот пример, что его постоянно приводят сами аналитики, включая тех, чьи выводы противоречат моим.

Итак, я приведу пример решения или единичного действия одного исторического деятеля. Этот пример я нашел в книге Мортон Каплана «On Historical and Political Knowing»: Бисмарк и телеграмма из Эмса – банальный пример, который всем известен. Однажды, узнав, что посол Франции сделал новый демарш, чтобы получить подтверждение о снятии кандидатуры Гогенцоллерна на трон Испании, Бисмарк сфальсифицировал телеграмму, полученную из Эмса, таким образом, что придал ей оскорбительный и вызывающий характер. Во французском общественном мнении это вызвало ярость и вместе с тем требование объявить войну Пруссии.

В чем состоит анализ такого решения? Если вы не логик и если вы ничего не знаете о диалоге Гемпеля и Дрея, то что нужно сделать для анализа этого события? Вероятно, возникнет вопрос о цели, которую преследовал Бисмарк, и согласно свидетельствам, которыми мы располагаем, станет вполне очевидно, что его целью было спровоцировать войну между Германией и Францией. Вдобавок он не только хотел спровоцировать войну, но сделал это так, чтобы Франция выглядела агрессором и общественное мнение в Германии и во всем мире одобрило действия Пруссии.

Почему он принял решение сфальсифицировать телеграмму из Эмса? Для ответа на этот вопрос следует, как я уже говорил, учитывать не только цель, которую Бисмарк преследовал, но и множество других факторов. До принятия этого решения он, например, поинтересовался у начальника прусского генерального штаба соотношением вооруженных сил; он спросил у него, уверен ли он в том, что прусская армия победит французскую. Можно предположить, что начальник генерального штаба генерал Мольтке представил ему уточненные данные о соотношении французской и прусской армий и т. д. Кроме того, начальник генерального штаба ему, конечно, сказал, что он считает прусскую армию более мобильной, лучше подготовленной и оснащенной и поэтому Пруссия, по всей вероятности, выиграет войну. Естественно, можно расширить интерпретацию поведения Бисмарка, оценив это особое решение на фоне всей политики, которую он проводил уже многие годы: Бисмарк преследовал глобальную цель, заключавшуюся в объединении Германии, исключая Австрию. Чтобы достичь этого единства, ему необходимо было одолеть своих южногерманских противников. Он считал, что сломить сопротивление южногерманских государств можно только путем сплочения немцев против чего-нибудь или кого-нибудь. Следовательно, интерпретация этого единичного действия будет становиться все более понятной пропорционально росту числа сведений и подробностей о расчетах самого Бисмарка, о его психологии в той мере, в какой единичный акт можно включить в последовательный ряд исторического рассказа. Так, на мой взгляд, поступают все историки, независимо от того, верят ли они в теорию Гемпеля. Против такого воссоздания исторической практики могут выступить те логики (таких, кстати, очень мало; по крайней мере, так было в первый период аналитической философии), которые желали бы получить совсем другое объективное познание человеческого прошлого в том смысле, что оно не включало бы никаких ссылок ни на поведение участников событий, ни на то, что происходит в их сознании. Но радикально объек-

тивное восстановление человеческого прошлого никогда не практиковал ни один историк, потому что это прошлое не имеет смысла, если не ссылаться на помыслы, желания, чувства, переживания самих участников событий. Если так ставить вопрос, и объяснение, действительно, включает в себя восстановление ситуации, личности Бисмарка, его целей и расчетов, то каково же содержание дискуссии?

Противники модели Дрея выдвигают два возражения, которые я нашел в книге Мортон А. Каплана:

1) Понятие рациональности двусмысленно; существуют разные виды рациональности, и неясно, в каком смысле можно говорить, что фальсификация телеграммы из Эмса Бисмарком была рациональным актом. Я полностью готов согласиться с тем, что понятие рациональности имеет множество значений, я согласен также с тем, что было бы лучше не использовать понятие «рациональная связь». Но нетрудно заметить, что есть «умопостигаемая связь» между целью, которую преследовал Бисмарк, и средством, избранным в рассматриваемой ситуации. Я использую термин «умопостигаемое», чтобы отложить вопрос о том, идет ли речь о рационально необходимой связи, которая может существовать лишь в том случае, если избранное средство достижения цели (скажем, война) было единственно возможным в рассматриваемый момент.

Оставим в стороне вопрос о рациональности и вернемся к нему при других обстоятельствах. Допустим множество форм рациональности и устраним это первое возражение. Второе возражение более значительно.

2) Предположим, говорит Каплан, что Бисмарк вел себя рационально, сфальсифицировав телеграмму из Эмса (рациональность заключается в выборе средства, подходящего при данных обстоятельствах). Тем не менее, отсюда не следует, что рациональность этого действия может представлять собой объяснение: с точки зрения логики действие или решение объясняются тем, что Бисмарк по природе своей вел себя рационально. Другими словами, это «диспозиционное высказывание» о Бисмарке, то есть о рациональности

Бисмарка. Оно является общим высказыванием, из которого можно вывести объяснение поведения Бисмарка. Мы здесь оказываемся в центре дискуссии: объясняется ли решение Бисмарка адаптацией средства к преследуемой цели или природой Бисмарка как человека?

Если выбирают второй вариант, то обнаруживают формулировку общего высказывания диспозиционного характера: именно потому, что Бисмарк был рациональным человеком, можно объяснить рациональной связью принятое им решение сфальсифицировать телеграмму из Эмса. Другими словами, что является главным в объяснении: рациональность, адаптация решения или рациональный характер Бисмарка как человека?

Отметим, прежде всего относительно интерпретации Дрея, что нет смысла поднимать вопрос о необходимости. Когда Дрей хочет обнаружить необходимость в рациональности, то, по-моему, он допускает ошибку, потому что он хочет вновь обнаружить эквивалент природной необходимости через интерпретацию поведения. Но, на мой взгляд, именно объяснение участником событий и его расчетами, в сущности, не дает возможности обнаружить необходимость. Обнаруживают умпостигаемость, а не необходимость. Скажу проще: объяснение поведения намерениями субъекта действия позволяет понять его поведение, но это не значит, что субъект действия не мог поступить иначе; всегда обнаруживается, что он мог поступить иначе. Лично я полагаю, что историк восстанавливает расчеты участника событий, анализирует ситуацию такой, какой он ее видел, но при восстановлении поведения участника событий историк непременно вводит элементы, которые содержат некоторую рациональность самого субъекта действий. Другими словами, на мой взгляд, нет различия между восстановлением частного решения и восстановлением личности, потому что историк, исследующий политику, рассматривает, очевидно, политического деятеля как рационального человека. Можно также сказать, что для того чтобы понять политического деятеля, историк пытается восстановить менталитет или политиче-

ский мир этого деятеля или что он пытается понять, как представлял себе мир рассматриваемый участник событий.

Вот пример из современной истории, который может показаться более простым, потому что он касается современной истории: когда я пытался восстановить поведение тех, кто руководил американской дипломатией с 1945 по 1971 или 1972 год, я исходил из свидетельств менталитета этих участников событий. Я пытался уловить и понять, как они видели мир. Исходя из этого, можно понять, как американцы оказались в Южном Вьетнаме, чтобы защитить некоммунистическое правительство, хотя их экономические и стратегические интересы в Южном Вьетнаме равнялись почти нулю. При восстановлении представления американцами мира и их стратегии, то есть стратегии «сдерживания», становится ясно, что они стали защищать Южный Вьетнам в силу своего представления о мире и тех интересов, которые они должны были там защищать.

Что же касается Бисмарка и фальсификации телеграммы из Эмса, то можно ли пойти еще дальше и сказать, что его поведение было рациональным в том смысле, что это был единственный выход? По-моему, так можно сказать при одной оговорке: если Бисмарк в этот момент хотел достигнуть своей цели, а именно войны, то фальсификация телеграммы из Эмса, действительно, была лучшим и, может быть, единственным средством. Она была поводом, за который он должен был ухватиться, если считал, что пришло время для достижения цели, которую он давно поставил перед собой (по крайней мере, со времени войны с Австрией), а именно спровоцировать молниеносную войну против Франции с целью объединения Германии.

Можно ли таким путем прийти к тому, что логики называют «практическим силлогизмом»? В отношении решения Бисмарка этот силлогизм выглядит так:

– Большая посылка: Бисмарк хотел войны с Францией, чтобы преодолеть сопротивление объединению Германии со стороны южногерманских государств.

– Малая посылка: фальсификация телеграммы из Эмса была единственным средством спровоцировать войну.

– Вывод: следовательно, он сфальсифицировал телеграмму.

Если практический силлогизм истинен, то можно сказать, что связь между средством и целью необходима и рациональна. Но достаточно немного изменить силлогизм и сказать: Бисмарк хотел войны с Францией, чтобы сломить сопротивление государств Южной Германии (в этом случае фальсификация телеграммы из Эмса выглядит как одно из нескольких возможных средств спровоцировать эту войну), и у нас возникнет представление, которое не содержит ни необходимости, ни абсолютной рациональности. В этом случае налицо адекватный выбор в сложившейся ситуации.

Впрочем, можно иметь другой практический силлогизм такой формы:

– Большая посылка: Бисмарк хотел объединения Германии.

– Малая посылка: он считал войну с Францией единственным средством объединения Германии.

– Вывод: следовательно, он спровоцировал войну; он, таким образом, выбрал единственное средство, которое вело к поставленной цели.

Второй практический силлогизм отличается от первого тем, что первый применен к датированному действию – к фальсификации телеграммы из Эмса. Второй же предполагает более продолжительное время. В обоих случаях объяснение осуществляется с помощью действий Бисмарка и сложившейся конъюнктуры средств и цели без обязательного установления необходимой связи.

Обратимся еще раз к спору Гемпеля и Дрея: является ли объяснением то, что Бисмарк был рационален, или то, что он по-своему видел мир и конъюнктуру?

Что касается интерпретации Дрея, то я думаю, что его целенаправленная реконструкция объяснения с помощью мотивов страдает фундаментальной логической ошибкой,

вызванной тем, что такого рода объяснения могут быть основаны скорее на «принципах действия», чем на общих законах. Дрей эксплицитно различает «принципы действия» и общие законы, основываясь на тезисе «делать что-нибудь» в данных обстоятельствах. И мне кажется, что именно здесь находится центральный аспект дискуссии: показать, что действие, имевшее соответствующий или рациональный характер в данных обстоятельствах, в действительности не дает объяснения, почему так надо было поступить. Говорить, что действие было рациональным или адекватным, не равносильно объяснению поведения. Нет нормативного принципа оценки того, какое действие было надлежащим в различных обстоятельствах, и нет объяснения причин, почему индивид действовал так своеобразно. А вот еще другая формулировка: объяснение на основании принципа действия или «здравого смысла» – это, в сущности, не объяснение, так как смысл может быть «здравым» в значении принципа, на который можно сослаться, чтобы оправдать свое поведение, хотя этот принцип фактически никак не влияет на нас.

Вот основное резюме полемики между двумя школами аналитиков. С одной стороны, объяснить странное поведение означает обнаружить взаимосвязи между ситуацией, целями, преследуемыми участниками событий, и избранными средствами. Причем неважно, идет ли речь о восстановлении поведения Бисмарка или об американской политике последних двадцати пяти лет, так как нет существенного различия между объяснением частного решения и объяснением стратегии. Лично я думаю, что можно объяснить ситуацию восстановлением расчетов участника событий, его менталитета и отношения между решениями и ситуацией. Но с другой стороны, некоторые аналитики считают, что не умопостигаемая связь между ситуацией, целями и решением составляет объяснение, а общие высказывания относительно личности субъекта действия или ситуации.

Когда речь идет о такой полемике, которая сразу же представляется деликатной, трудной, где приверженцы

двух противоположных тезисов повторяют бесконечно одни и те же аргументы, не сумев убедить друг друга, должна быть причина, из-за которой обе школы не могут прийти к согласию.

Надо сначала поставить вопрос: как можно проверить, доказать или оправдать выбор одной из моделей? Ведь в конце концов, если анализируют логическую модель и хотят сделать определенный вывод, то возникает вопрос, как можно в логике больше защищать одну модель, чем другую?

Я думаю, что можно говорить о трех возможных аргументациях при выборе той или иной модели:

– Прежде всего, это ссылка на практику историков и на их собственное представление о том, что они делают: если исходить из того, как историки представляют себе свою деятельность, то, я думаю, чаша весов будет склоняться в пользу модели единичной и специфической умопостигаемости.

– Затем идет ссылка на постулат. Согласно этому постулату только одна модель логически приемлема и дает подлинное объяснение. Если считается, что объяснение логически приемлемо только в той мере, в какой единичная связь выводится из общего высказывания, то историк мог бы сказать, что он не использует общие высказывания. Но логик сможет всегда ему ответить: или вы, не подозревая об этом, используете общие высказывания, или же, если вы их не используете, все равно это не является объяснением. Здесь очевидна (и это в пользу модели Гемпеля) логическая ошибка. Но если ее совершают, то придется сказать, что даже при применении другой модели нет гарантии, что она все объяснит.

– Можно, наконец, использовать в этом споре ссылку, имеющую более или менее метафизический и имплицитный характер: объяснять поведение человека интенциональностью участников событий – это значит убеждать, что знание объекта общества отличается от знания объекта природы. Вместе с тем это значит убеждать, что поведение человека, по крайней мере в особых случаях, может отличаться от прежнего поведения.

Почему мы, в конце концов, считаем модель Гемпеля неудовлетворительной? Я действительно убежден, что интерес к историческому рассказу заключается в демонстрации не того, что события могли произойти именно так, а не иначе, а того, что в любую минуту события могли произойти иначе. Вот почему я пришел к мысли, что желание подвести единичную связь или решение индивида под общее высказывание является ложным ходом, так как никогда нельзя найти общее высказывание, из которого можно вывести необходимость этого решения, которое в действительности могло быть другим. Но можно прекрасно показать умопостигаемость решения, принятого в соответствии с ситуацией и интенциональностью субъекта действия. Если ссылки, на основании которых выбирают ту или иную модель, являются практикой историка, теориями логика или более или менее имплицитной метафизикой того, кто размышляет о проблеме, то мой выбор зависит от первого и третьего аргумента. По-моему, как раз не модель Дрея, а ее измененная разновидность адекватна практике историков, и вместе с тем соответствует не претенциозной и общей метафизике, а тому, что я назвал бы метафизикой, в которой мы все живем, метафизикой повседневной жизни.

Действительно, наша метафизика повседневной жизни состоит в том, чтобы на самом деле показать, что когда я принимаю решение в результате обдумывания, я как бы подсчитываю: я задаю себе вопрос, какую цель я преследовал, и если даже эксплицитно не размышлял, я действовал в соответствии с моим восприятием реальности, в соответствии с эффективностью, которую я приписываю тому или иному решению. И когда я спрашиваю себя, должен ли я делать то или другое, у меня и в мыслях нет, что я вынужден поступать так или иначе. Когда я принимаю решение читать курс по аналитической философии истории, у меня нет ощущения, что я не смогу прочесть другой курс. Точно так же можно сказать, что нет такого государственного деятеля, который, размышляя о том, что он должен сделать в данной ситуации, не сказал бы себе, что есть аргументы в

пользу того или иного решения, и который в конце концов не выбрал бы решение после обдумывания. И если потом кто-нибудь ему говорит: я могу вывести ваше решение из общего высказывания, поскольку оно необходимо с точки зрения этого общего закона, то это неправда. Нет такого общего высказывания, из которого можно вывести необходимость решения, если его автор предполагал, что оно могло быть и другим. Можно только сказать (но в этом случае общее высказывание ничего больше не объясняет), что можно найти общее высказывание, которое делает более или менее вероятным принятое решение, так же, как оно делает вероятным любое другое решение. Начиная с этого момента так называемое преимущество общего высказывания исчезает, так как единственным преимуществом объяснения с помощью общего высказывания является выяснение необходимой, единичной связи. Таким образом, если выводить эту единичную связь из общего высказывания, делающего ее более или менее вероятной, то мы оказываемся точно в ситуации интерпретации с помощью мотивов.

Поэтому я думаю, что объяснение (назовем его так условно) единичного решения такого государственного деятеля, как Бисмарк, состоит не в том, чтобы искать общие или диспозиционные высказывания о Бисмарке как о человеке, а в том, чтобы углублять мысль о том, что Бисмарк как государственный деятель исходил из того мира, в котором жил, из тех средств, которые считал возможными использовать, и из тех целей, которых он хотел добиться. Именно исходя из этого глубокого анализа политической личности Бисмарка и представляемого им исторического мира принятое в определенный момент решение достигает максимальной уместности, а не необходимости в смысле, когда ретроспективно можно было бы сказать, что он не мог принять другого решения. Так можно прийти к эквиваленту того, что Макс Вебер называл «целерациональностью»: с точки зрения известной цели Бисмарка принятое им решение было адекватным и вело к цели.

Можно сразу же отвергнуть возражение, согласно которому недостаточно рациональности связи между решением и целью для объяснения в той мере, в какой следовало бы добавить рациональность Бисмарка как человека. Мне кажется искусственным такое различие между рациональностью частного решения и предрасположением человека, потому что связь между ситуацией, целями и решением обнаруживается только в том случае, если рассматривать видение мира участником события и одновременно учитывать предрасположение Бисмарка как человека. Таким образом, не прослеживается различие между адекватностью средств цели и способностью действовать рационально: восстановление поведения исторических деятелей охватывает как личность участников событий, так и принимаемые ими решения.

Добавлю, что редко удается доказать, что избранное средство или принятое решение были единственно возможными, и, следовательно, редко сталкиваются с необходимостью. Даже в сфере рациональности мы обнаруживаем только умопостигаемые связи. В конце концов, когда речь идет об историческом рассказе (как, например, об анализе политики Бисмарка в то время, когда он был советником короля Пруссии и в эпоху объединения Германии), восстановление состоит в том, чтобы сделать понятной часть политической истории Европы. Эту историю можно сделать еще более понятной, если включить в рассказ больше фактов и, не ограничиваясь дипломатическим упрощением, использовать все, что может помочь понять поведение Бисмарка, а также поведение его разных собеседников – как противников, так и сторонников.

Мой вывод, таким образом, состоит в том, что я принимаю позицию, которую фон Вригт сформулировал в своей книге «Объяснение и понимание». Свою модель он называет «практическим силлогизмом». Я вам представлю ее абстрактную, а не конкретную форму, которую можно применить к частному случаю. Наиболее общий практический силлогизм выглядит так:

– Большая посылка: **А**, участник событий, намерен осуществить **В** (я перевожу как «осуществить» английский термин *bring about*).

– Малая посылка: **А** считает, что не сможет осуществить **В**, если не исполнит **а**.

– Вывод: следовательно, **А** принимается (*sets himself*) за исполнение **а**.

Вот самый простой практический силлогизм, являющийся схемой объяснения, или скорее интерпретации интенционального поведения в человеческой истории. Ничто не мешает включить некоторое число общих высказываний в качестве элементов в этот практический силлогизм. Действительно, чтобы определить связь между средством и целью, очень часто участник событий вынужден использовать определенное число общих высказываний: например, Бисмарку было известно состояние боевой готовности французской армии; он в какой-то степени представлял себе, как французы отреагируют на телеграмму из Эмса. Поэтому можно сказать, что он избрал это средство, потому что знал (и это как раз есть общее высказывание), как французы реагируют, когда задето их самолюбие. Таким образом, можно вполне признать причастность общих высказываний к расчетам участников событий. Но тем не менее основным элементом такого рода объяснения-интерпретации является следующее: интерпретация интенционального поведения (я не говорю, что вся история сводится к интерпретации интенциональных поведений) по своей природе не выводит единичную последовательность из общих высказываний, а обнаруживает умопостигаемость поведения участника событий в специфических обстоятельствах, в соответствии с целью, преследуемой этим участником событий.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы приписать участнику событий наши собственные цели; речь не идет о том, чтобы интерпретировать его поведение, предполагая, что он имеет те же цели, что и мы, или что он воспринимает мир так, как мы. Работа историка состоит именно в том,

чтобы выяснить, как исторические деятели воспринимали мир и как в соответствии с этим восприятием мира они принимали то или иное решение. Если сегодня часть американской молодежи не в состоянии понять, почему США ввязались во Вьетнам, то именно потому, что она уже не воспринимает мир так, как американские руководители последних двадцати лет. Сегодня американцы видят мир иначе, и хотят вести себя иначе, поскольку то, что им казалось вполне очевидным в свое время, сегодня им таким уже не кажется. Точно так же Бисмарк мог считать, что война с Францией была маленькой экспедицией без большого риска, которая должна была закончиться через несколько недель; именно потому, что он имел такое представление о войне с Францией, он мог выбрать данное средство, чтобы объединить Германию. Сегодня нельзя себе представить, чтобы какой-нибудь немецкий государственный деятель избрал аналогичное средство, поскольку ему хорошо известно, что значение этого средства будет совсем другим. Поэтому не следует думать, что такое интерпретативное восстановление исторического поведения может быть осуществлено без изучения архивов, документов и всех имеющихся свидетельств. Нет никаких указаний на то, что можно установить способ, посредством которого участники событий выбрали свою судьбу, и я утверждаю, что для понимания поведения, скажем, Бисмарка можно только восстановить его мировидение и уловить умпостигаемость его поведения.

Почему и в какой мере эта теория исторического объяснения, или, точнее, согласно моей терминологии, эта теория исторической интерпретации возвращает нас от аналитической философии к герменевтике? Почему выбор модели умпостигаемости единичной связи представляет собой решающий момент в сползании аналитической философии от традиции научного объективизма к противоположной традиции наук о духе?

Сначала одно замечание: тот, кто в 1957 году в англо-американской литературе защищал рациональную модель,

то есть модель Дрея, молодого профессора философии из Канады, не вполне осознавал, что выбирая модель рациональной связи, он начал сползать от аналитической школы в направлении герменевтики и наук о духе в Германии. В его книге не упоминаются немецкие авторы, и он не подзревает, что выбор рациональной модели, если следовать ей полностью, ведет к принятию некоторых специфических черт гуманитарных наук. Зато фон Вригт, в отличие от заокеанских авторов, обладает прекрасной общей философской культурой. Он блестяще знает как философию Гегеля, так и философию наук о духе и Дильтея. Фон Вригт прекрасно понимает, что выбор модифицированной модели Дрея ведет, в конце концов, к принятию некоторых характерных черт философии наук о духе в Германии и к сближению с герменевтической традицией. Я охотно сказал бы, что выбор модифицированной модели Дрея ведет к принятию аналитической версии немецкого термина «*Verstehen*», «понимание». Известно, что немецкое слово «*Verstehen*» использовалось сначала Дройзеном, а затем Дильтеем для обозначения способа познания, отличного от способа познания в естественных науках. Принятие только что изложенной мною исторической интерпретации ведет не к восстановлению немецкой теории «*Verstehen*», а к использованию некоторых ее элементов. Почему?

Если мой анализ верен, то ядром объяснения становится не выводимость из единичной связи, а ее умопостигаемость. Отсюда не следует, что мы интуитивно улавливаем то, что произошло в сознании участника событий; это была бы ложная теория понимания. Изложенная только что мною теория интерпретации не предполагает ничего, что можно было бы сравнить с «*Einfühlung*» на немецком языке, или «*empathie*» на французском языке: логическая теория интерпретации посредством интенциональности не предполагает причастности сознания интерпретатора к сознанию участника событий. Эта теория несколько не требует, чтобы мы интуитивно улавливали поведение или манеру мыслить участника событий. Я сказал бы, что совсем

напротив, теория интерпретации приемлема научно только в той мере, в какой мы исследовали мир участника событий – то, что представляет собой сам участник событий и чего он хотел. Следовательно, речь идет не о том, что мы улавливаем интуитивно или непосредственно то, что происходит в сознании исторического деятеля. Теория понимания, вытекающая из моей схемы интерпретации, – это строго интеллектуальная теория, если не интеллектуалистская. Эта теория предполагает, что по крайней мере часть исторических событий следует из намеренных действий исторических участников событий, и что на уровне интенционального микрособытия единственной формой объяснения, которой мы располагаем, является интерпретация, связанная с восстановлением личности самого участника событий и мира, в котором он жил.

Разумеется, не все исторические действия предполагают предварительное обдумывание. Именно в этом смысле приведенный мною пример особенно показателен, так как мы знаем, что Бисмарк все заранее продумал до фальсификации телеграммы. Мы знаем, что после разговора с генералом Мольтке он был совершенно уверен в превосходстве прусских вооруженных сил. Это, так сказать, идеальный случай, когда имеется сходство между размышлением участника событий и восстановлением историками. Но даже в этом случае нет никакой путаницы. Интерпретация здесь не ограничивается воспроизведением беседы между Бисмарком и Мольтке. Она также состоит в том, чтобы включить единичное решение в ход истории, поместить Бисмарка как личность в ход прусской истории. Иначе говоря, ввести в интерпретацию и в создаваемую нами умопостигаемость многие элементы, которые отсутствовали в сознании участника событий, потому что последний ограничивался простыми аргументами, непосредственно применимыми к конъюнктуре, и потому что мы хотим присокупить дополнительную умопостигаемость, помещая единичное решение в более широкие рамки.

Таков мой предварительный вывод. Но почему наши аналитики избрали для защиты своего тезиса самый неудачный пример? Почему они исследовали микрособытие, скорее представляющее собой интенциональное микрособытие? Если хотят защищать тезис, согласно которому историческое событие объясняется только в том случае, если его можно вывести из общего высказывания, было бы лучше взять такое событие, как инфляция. В этом случае нетрудно вывести инфляцию, возникшую в определенное время, из общего высказывания об условиях, в которых возникает инфляция. Действительно, есть много событий и даже микрособытий, которые можно вывести из общих высказываний и к которым можно легко применить модель Гемпеля. И может возникнуть вопрос, почему аналитики так привязаны к микрособытию и к интенциональному микрособытию.

Это вовсе не случайно. Поскольку они не могут включить микрособытие в свою схему, есть пробел в модели науки, которую они хотят сохранить. Можно, конечно, сказать, что интенциональное микрособытие не имеет значения в истории. Тем не менее, именно благодаря этому событию функционируют социальные институты, и некоторые интенциональные микрособытия имели значительные последствия. На самом деле, не в силу своего неумения аналитики связались с интенциональным микрособытием: они выбрали случай, когда их модель применима с большим трудом, и они думали, что если случай, когда их модель применима с большим трудом, может быть включен в общую схему, то общий тезис будет сразу доказан. Но я полагаю, что, как это случается часто, они выбрали такой случай, который абсолютно не подходит к их тезису. И они представили аргументы не с целью его опровержения, а чтобы определить его границы. Ибо границы тезиса о выводимости единичной связи, исходя из общих понятий, есть как раз интенциональное микрособытие. Эта граница имеет большое значение: поскольку начиная с того момента, когда предоставляют одну из форм объяснения или интерпре-

тации путем выяснения умопостигаемости человеческого поведения, открывается огромное поле для исследований, которое составляет часть сферы общественных наук. Ибо, в конце концов, интерпретировать поведение Бисмарка означает включить это поведение в политический мир его эпохи. Аналогично этому интерпретировать или понимать общество означает восстановить духовный мир или мир ценностей, в котором жили другие общества, а не наше. Вместе с тем нельзя не заметить следующее: важность этой дискуссии заключается в том, что, исходя из нее, можно понять, что микрособытие предполагает скорее интерпретацию, чем объяснение, что одна из целей исторического труда заключается именно в том, чтобы понять, как жили другие люди и общества. Другими словами, восстановление умопостигаемости общества не является средством для научного объяснения. Это сама цель исторической практики. Она состоит в том, чтобы понять не только события, но и людей, понять также, что эти люди прошлого отличались от нас. Вот почему я уделил столько внимания этой дискуссии о двух моделях: вторая модель дает возможность раскрыть положительную и рациональную теорию наук о духе, которая сохраняет все ценное в традиции *Geisteswissenschaften*, не впадая ни в мистицизм, ни в спиритуализм.

*Перевод с французского
И. А. Гобозова*